

Глеб Горьшин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

## КАРТИНКИ НА БЕГУ

### I

Во второй половине пятидесятых годов я жил на Алтае. Одно время работал собкором краевой газеты по Бийской группе районов и Горному Алтаю. В Бийске у меня был номер в гостинице «Бия», двенадцатый номер-полулюкс, с обязательством освободить его с приездом персоны более достойной полулюкса, чем я. Днем ходил по заводам и предприятиям, собирал материал, вечером писал корреспонденции и заметки; перед сном отправлялся в Заречье – побегать там для поправки здоровья. Переходил Бию по льду, дальше по Чуйскому тракту до бора, сворачивал влево на улочку-боковушку-веточку на стволе тракта – и бежал. Бегающих не по делу, а по прихоти в ту пору, кроме меня, в Бийске не завелось. Не таков был город Бийск, чтобы по его улицам или даже в предместьях праздно мельтешили ногами – очень сильный был трудовой накал: целинная эпопея, всесоюзная комсомольская стройка вблизи города. Стройка называлась 122-й трест; что строили, неизвестно; после прознали – завод атомных бомб.

Тогда еще время не пришло, возраст не наступил для массовых пробежек трусцой, мысль никого не осенила: убежать от инфаркта. Я стеснялся бегать открыто у всех на виду. Пожалуй, это и невозможно было: бийские мужики в момент бы словили меня, препроводили в дурдом. Я маскировался: ходил в места моих пробежек в ратиновом синем, сшитом к выпуску из университета, пальто, в ботинках, при шарфе, в ондатровой шапке с ушами. (В одну из поездок в Горный Алтай я оставил шапку на вешалке в сенях избы Николая Павловича Смирнова, знаменитого садовода на Телецком озере; его зверовая лайка Дамка допрыгнула, разорвала шапку в клочья. Взамен Николай Павлович подарил мне шкуру, снятую с небольшого медведя-пестуна, выделанную; на ней впоследствии любила играть моя дочка Анюта.) В этом одеянии я бежал по крайним улочкам в Заречье.

Бежалось мне тогда одышливо, тяжело: я только что перенес ревматическую атаку, восемь месяцев провалялся в больницах, съел, наверное, килограмм солицилки; других средств от ревматизма еще не было; солицилкой лечил своих пациентов и Антон Павлович Чехов. Выписался в последний раз с диагнозом: недостаточность митрального клапана. Одни доктора слышали шум в моем сердце, другие не слышали. Возможно, мое сердце когда пошумливало, когда помалкивало.

Моя мама, тоже доктор, слушала мое сердце без трубочки, прикладывала ухо к груди; мне было щекотно, хотелось тихо, счастливо, как в детстве, смеяться. Но у мамы было очень ответственное докторское лицо, и ничего смешного в моем положении не предвиделось. Мама мне говорила: «Я училась у профессора Ланга, помню его слова: «Ревматизм лижет суставы, кусает сердце». Но вот хоть убей, я не слышу у тебя шумов». Мама так говорила для того, чтобы я не впадал в уныние. А может быть, и правда не слышала шумов.

Ревматизм полизал мне суставы, а сердце вроде не укусил. Я заболел на Алтае по чистой юношеской дурости: плавал в холодных горных озерах. Лечиться уехал в родной город Питер; мне приставляли к груди трубочки питерские светила медицины, а вылечила мама единственным для каждого смертного матушкиным сердечным печением. Отболев, вернулся на Алтай, приступил к работе собкором в Бийске... Но что-то мне немоглось: донимали ангины, температура поднималась к вечеру – тридцать семь и три, четыре, пять... Стрептоцид, аспирин, кальцекус не помогали. Я ослабел за болезнь, не хватало жизненной силы справиться с хворью. Лежал в моем полулюксе – с дурной, гнилой температурой, в испарине и тоске. Что было делать?

На этот извечный, витающий над головушкой каждого индивида – и любого сообщества – вопрос моя бабушка, мамина мама, отвечала, бывало, по-простонародному ёрничая: «Что делать? Заголясь побегать». Этот бабушкин фольклорный двусмысленный совет сослужил мне сушную пользу. Бабушка вообще понимала меня, не только любила как внука, а прозревала во мне и зернышко, и завязь, и будущие побеги – их податливость, ломкость, – и прямизну растущего к солнцу стебля, и его возможную кривизну – от ветров, поветрий...

Заголиться в ту пору я не мог: мороз с привычным для сибиряков, докучным для приезжих постоянством жал под сорок градусов; задувал буран. А вот побегать... От хвори можно было только убежать, другого лекарства не находилось.

В первый раз я пробежал сто шагов, не сразу, по пять, десять шажочков, впритруску. От мороза ломило зубы, ресницы слипались от изморози. На обратном пути спина обрастала куржаком, становилась белой. Каждый вечер я проходил по Бийску с совершенно белой спиной. Довел пробежку до тысячи шагов – и убежал-таки; хворь сползла с меня, как линючий мех с боков весеннего марала.

Однако пора было озаботиться о постоянном местопребывании и корпункте. С соответствующей бумагой из газеты я обратился в горком. Меня пригласили на бюро. Очень серьезные бийские мужчины рассматривали меня, как зимовщики в Антарктиде первого пингвина. Первый секретарь горкома партии товарищ Петров, с лицом, вытесанным из кедровой чурки, сказал: «Молодой человек! У нас ведущие специалисты ждут ордера на жилплощадь по двадцать лет. Свободных помещений в городе нет. Ищите в частном секторе. Желаем удачи. Можете идти».

Весной я искал жильё в Заречье, поближе к бору. Люди тесно жили в заречных домишках, свободной площади для сдачи ни у кого не было. Раз мне указали: «Вон в той последней в порядке избе Нюрка одна живет, говорила, сдала бы, если кто путный найдется». Я постучался в избу, крытую когда-то тесом, так давно, что, источенная грибом, замшелая, потемневшая, зазеленевшая, кровля казалась земляной. Постучал в дверь, обитую драной мешковиной, под мешковиной стружка, истершаяся в труху, сыплющаяся в дыры... Мой ненужный, неуместный стук косточками пальцев в труху не произвел ни малейшего звука. Я потянул дверь на себя, вшагнул в избу: слева русская печка, в правом углу икона, у передней стены стол, по бокам лавки, в углу у входа распущена проросшая, как в розово-белых червях, картошка...

Молодая баба оперлась на ухват, которым командовала в печи чугунами, уставилась на меня с бессмысленным интересом. Лицо ее было розоватое, ошпаренное весенним солнцем, шалое; особенно эта шалость исходила из круглых, светлых, линиях, малость слезящихся от печного дыма глаз. Она была простоволоса, в ватной кацавейке, в юбке с длинным подолом, в кирзовых сапогах.

Я изложил хозяйке цель моего прихода, хотя уже знал, что оставаться мне тут не след.

– Ну что же, – сказала Нюрка на мою просьбу пустить постояльцем, – живи. Места хватит. Огород обрабатывать – пополам. – Она пожмурилась, похлопала своими шальми – от весны или чего-то еще буркалами, оглядела меня, как оглядывают наконец-то купленную, приведенную во двор животину. – Кровать у меня одна, – сказала Нюрка, с таким простодушным энтузиазмом, что я едва не заплакал от нахлынувших чувств. – Мужик мой был живой, на пару места хватало...

Я стал откланиваться, благодарить (о чем-то все-таки сожалея), проборматывать, что подумаю, завтра приду...

– А чего тут думать, – сказала Нюрка с отчаянностью последней надежды, – живи!

Я снял себе место для жизни и работы в доме неподалеку от моста через Бию (мост тогда был понтонный) у парторга управления Чуйского тракта Анфисы Петровны, женщины лет сорока. Как у большинства женщин России, мужа ее убили на войне. В материнском доме жили два сына; старший восемнадцати лет работал на стройке, приходил домой перемазанный в цементном растворе; младший, шестнадцати, слесарил в совхозной мастер-

кой, приходил в мазуте и соляре. Особо не умываясь, парни садились к столу, уметали все, что подавала им бабушка Степанида, мать Анфисы Петровны, вдова сибирского партизана, убитого Колчаком. Уметали и требовали еще, при этом густо без злобы матерились, как заведено у мужиков в Сибири, от близости к каторге. Да и у нас в старых русских губерниях то же.

Так я оказался во вдовьем доме, с двумя квартирующими в нем молодыми мужиками. Мужиками стали рано, но в хозяйские заботы не входили, жили как-то вразнос, день да ночь — сутки прочь. Мне отвели закуток против кухни, задернутый от хозяев ситцевой в цветочках занавеской; хозяева помещались все в одной общей горнице, там и спали, к столу садились на кухне. Мне было слышно каждое слово, сказанное в этой семье. Как я скоро понял, свои куцые заработки парни не очень-то приносили домой, зато частенько являлись «под балдой». «Освобожденная» должность парторга поглощала время и душевные силы матери; бабушке Степаниде не ввести было в оглобли выросших без отца парней. Ей, кажется, не платили никакой пенсии: у нее не было «производственного стажа»; всю жизнь проработала в колхозе. Семья жила на материнскую зарплату; сдать мне угол хозяйку заставляла крайность нужды.

Я платил за угол, кажется, двести рублей (на новые деньги двадцать), при зарплате девятьсот пять рублей в месяц. Но ежели бы посчитать, что мне перепало во вдовьем доме над Бией, то и цены нет такому добру. Семья садилась к столу — и меня приглашали; был я молод, голоден ничуть не меньше, чем хозяйские оглоеды; отказаться не мог. Да и как отказаться? В русских домах такого не допустят, чтобы самим хлебать, а кому-нибудь слюнки глотать, хотя бы и постояльцу. Живя во вдовьем доме у всех на виду и на слуху, я лишился прав отдельности, стал как бы членом семьи — еще один молодой мужик, не столько добытчик, сколько нахлебник.

Бывало, вернусь из командировки иззябший, наголодавшийся, поступчусь в чужой дом над Бией, а там меня ждут, и пельмени слеплены, только кинь в кипяток, и грузочки соленые, и картошка разварилась, медового цвета, своя. И бражка сварена... Бабушка Степанида скажет: «У меня уж сердце чуяло, что ты вот-вот явишься, Александрыч. Дай, думаю, пельменей заведу, человека с дороги хоть будет чем угостить».

А какие слова доводилось мне слышать за моей ситцевой занавеской: так хотелось матери, бабушке обратить души сыновей, внуков к памяти отца, деда, отдавших свои жизни за Отечество, за Советскую власть, чтобы дети и внуки жили как люди... Но семена падали на заскорузшую почву, ничего не всходило из этих семян... А какие то́ были семена — выдержанные в хранилищах истинно русских женских душ, полных добра, готовности к добру, терпеливым ожиданием добра — и святой скорбью, теплотой сострадания, неистребимой, как сама жизнь, любовью...

Теперь до бора мне было рукой подать, я бегал, а после играл с двухпудовой гирей, стоявшей в сених. Хозяйские сыновья завели гирю, но я не видел, чтобы взялись за нее. Пробежки и гиря делали меня все крепче, сердце не шумело; в моем крепчающем теле здоровел и дух — для совершения какого-нибудь поступка. Раз меня вызвали в Барнаул. Я остановился у домохозяйки Юлии, на улице Финударника: квартировал у нее в самом начале по приезде. Юлия чем-то походила на бийскую Нюрку, разумеется, на более высоком уровне краевого центра; Нюрка — баба, Юлия — дама. Ночью в постели — одной во всем доме — дама ошупала меня, изумилась: «Ты видоизменился, стал другой — железный». Я обрадовался: именно этого мне не хватало для полноценной жизни мужчины в Сибири — железа.

Надо сказать, что лучшего места для безрассудных поступков, чем Бийская группа районов и Горный Алтай, не сыщешь даже на карте Советского Союза. Выйти на Чуйский тракт, сесть в машину, идущую в Монголию, зафитилить за все перевалы — и поминай как звали.

Весна на Алтае — серьезное дело, как и зима (и лето): зима загоняет тебя под теплый кров, чтобы не обжегся на морозе; весна выманивает из-под крова, порождает в душе желание, как у жаворонка, взлететь под беспредельный синий купол, затрепыхаться от восторга... Пора было предпринять большую командировку; на выданных мне в редакции командировочных

бланках я сам выбирал-проставлял пункты назначения, сам писал: прибыл-убыл; печать мне ставили в райкоме комсомола, совхозе, сельсовете, поскольку я действительно прибыл и убыл.

Как-то вернулся домой в Заречье, на ступеньке крыльца сидит мой друг Иван, в шубейке, в цыганской смоляной бороде, загоревший на горном солнце до смуглоты жареного кедрового ореха. Иван спустился с белка, зиму работал помощником бурового мастера на каком-то хитром, чуть не урановом руднике, рассчитался, был совершенно свободен, принес в кармане пачку червонцев (не показывал, только похлопывал по карману). Червонцы ему «жгли ляжку», как через семнадцать лет будут жечь Егору Прокудину, герою фильма «Калина красная»... (Василий Макарович Шукшин жил в ту пору в сорока километрах от моего дома в Заречье, в Сростках, а я и не знал.)

Иван стал жить вместе со мной за ситцевой занавеской, спал на полу. Однажды мы с ним разминулись: я пошел на почту передать в газету текущую информацию, он решил прошвырнуться по Бийску... Ночевать Иван не пришел, не явился на вторые сутки, а только на пятые, остриженный наголо, в ключьях тоже остриженной (но не бритой) бороде, опочерневших скулах. По своему обыкновению, распространяться о происшедшем посчитал излишним, только сказал со значением: «Где был, там нету. Тебе не советую там побывать». Червонцы ляжку ему больше не жгли.

Погожим апрельским утром мы с Иваном вышли к воротам базы, откуда выезжают на Чуйский тракт ЗИЛы международных рейсов в Монголию, сели в кабину того шофера, к которому надлежало нам сесть: заблаговременно договорились с секретарем парткома, моей хозяйкой Анфисой Петровной, через нее с диспетчером...

Чуйский тракт: чайная с пельменями и пивом в Манжероке, в Шебалино у чайной слепой с гармонью и песня: «Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферов. Но среди них был отчаянный шофер, звали Колька его Снегирев...» После песни прозвучит в фильме Шукшина «Живет такой парень» как музыкальный лейтмотив. Но сыграть ее так, как играет слепой у чайной в Шебалино, посередке Чуйского тракта, никому не сыграть...

Перевалы, еще укрытые снегом: Семинский, Чикет-Аман; белорамморный бом у селения Иня, прозванный Белым Бомом; зеленоструйные, белопенные реки: Катунь, младшая ее сестра Чуя... В Чибите простились с первоклассным чуйским водителем, ему править дальше по тракту: в Кош-Агач, Ташанту... А нам... Ночуем на ртутном руднике в Акташе. Говорят, кто год проработает на ртути, теряет интерес к любовным сношениям и вообще ко всему. Вот директор: приехал с Запада, молодой, полный сил и порывов, четвертый год директорствует, полностью отключился, холостякует, на танцы не ходит, в отпуск не уезжает. Таково действие ртутного газа.

Ночью пишу корреспонденцию о чуйском шофере-молодце. Утром отправляю. О руднике в Акташе, о молодом директоре – не пишу. Иван ухмыляется: «Дарю тебе заголовок для твоей очередной пендюры: «Пете хотелось петь» – отличный заголовок, с комсомольским задором. С тебя поллитра. Бери!»

По заснеженной горной дороге идем в Улаган. Нас догоняют две машины, но мы почему-то не садимся ни в одну из них. Почему? Какой ангел-хранитель нас воздержал? Метет метель. На перевале (здесь его называют переломом) настигаем одну из машин: увязла в заносе по уши. Вторая машина... Дорога идет краем обрыва, наветренно, где вязко, где гололед... Столбики ограждения выломаны, внизу видать машину, лежит на боку. Водитель живехонек, выбрался на дорогу, разводит руками: «Я еду, правое заднее колесо забуксовало, я газанул, меня развернуло, ну и...»

Другой шофер попенял: «Я тебе, Вася, говорил: «Не газуй!»

«Дак я что? Я еду...» И все сначала.

Если бы мы сели в эту машину, где бы мы были?!

Идем по глубокому снегу под лиственницами, теперь нас пятеро: мы с Иваном, двое шоферов, девушка, едущая из Бийска в Улаган проведать родителю.

Ночуем в почтовой избушке, выстроенной для идущих пешком или едущих верхами почтарей; другой связи здесь нет. Ночью из Улагана пробилась

машина, в кузове гроб. В гробу мать пришедшей вместе с нами девушки: не старая женщина, скончалась от неустановленной болезни. Отец девушки, озверевший от поминального пьянства, даже дочь не узнал. Гроб с неприбитой крышкой оставили на ночь в кузове. Провожатые присосались к бутылке. Ночью пришла россоха, обгрызла лицо покойной. Это все — правда, как выражался герой знаменитого романа Митя Карамазов, «реализм действительной жизни».

В ту ночь в почтовой избушке я не написал корреспонденцию, а так все писал, вообще был писучим собкором, меня даже отмечали среди других, малописучих.

В Улагане нас направили к Журавлихе, как направляют вновь прибывших на сборный пункт к распорядителю. В войну Журавлиха командовала колхозом, потом была завмагом, четыре года отсидела в тюрьме. В гостях у сей дамы мы застали все мужское — праздное — население Улагана. Журавлиха сварила похлебку из убитого мною в дороге ястреба, другого угощения к столу не подавалось. Зато мы получили массу полезных советов на будущее путешествие. Алтаец Митька отдал нам внаем за две бутылки (тут же распитые всей компашкой) своего коня Мухорку. Похоже, что конь стоял некормленный всю зиму, ехав верхом на нем нельзя, он повезет нашу поклажу: два заплочных мешка и ружье.

Втроем: я, Иван и Мухорка — идем по горам и падам, по талым снегам — к реке Чулышману и далее на Телецкое озеро. Ночуем в алтайской юрте — аиле, — с горящим посередине костром, в селенье Тужары. Мухорку на ночь привязали к стогу сена, с разрешения хозяина сена. Утром Мухоркин след простыл, впрочем, видны следы человеческих ног.

— Болк съел, — сказал нам хозяин-алтаец, что означало; волк съел.

Мы сделали предположение, что «болк» был двуногий. Алтаец сузил и без того узкие глаза, сказал так:

— Мы в ваши города приедем, вы нас ночевать не пустите. Мы для вас дикие люди. А мы пускаем. — Он поглядел на нас в прорези век, серьезно предупредил: — У нас воды полно, однако. Есть куда концы спрятать.

Иван завелся с полоборота:

— Ты нас на понял не бери, понял. Мы ребята ёжики, у нас в кармане ножики...

Я постарался уладить межнациональный конфликт, А как его уладишь?

На Чулышмане развернули почки березы и тополя (с перевала Катунь-Ярык мы спустились на две тысячи метров). В селенье Коо побаловались заменяющим кофе ячменным напитком — толканом. В Балыкче выпили водочки, переправились через Чулышман, обогнули южный угол Телецкого озера по склону горы Тоолок, чуть заметной тропой в кедровнике. Сделали засечки на кедрах, чтобы не сбиться на обратной дороге. В устье Кыги нас встретил Николай Павлович Смирнов, отдавший мне за ондатровую шапку (растерзанную собакой) медвежью шкуру.

— А я гляжу, — сказал Николай Павлович, — на Карагае кто-то костер зажег (мы зажгли наш последний костер перед подъемом в гору, поели пшенной каши, попили чаю с сухарями), на лодке плыть нельзя, волна высокая, думаю, к нам идут, надо встретить.

Сын Николая Павловича Владимир (у Смирновых восемнадцать детей) наладился в горы, в тайгу на охоту, искать волчье логово, и мы вместе с ним. Волчий след отыскали скоро, идем по следу, «в пятку», то есть навстречу ходу волка, к тому месту, откуда он вышел, к логову. Проваливаемся по пояс в отволглые снега. Владимир чапает, как медведь, а мы отстаем. Нет у нас вдохновляющей цели, как у Владимира: убить волка, взять волчат, за всех получить премию.

— Ну что, ребята, сказал Владимир, — я побегу, а вы потихоньку следом... Не заблудитесь, озеро — вот оно...

Мы остались вдвоем с Иваном в горной тайге. По ночам трещат морозы, режут медведи. Палим костры, рассуждаем, как лучше устроить наши дальнейшие жизни. Иван говорит, что писать в газету — значит лгать, а лгать он не будет. Я тоже что-нибудь говорю. Перед рассветом в кедровых гривах точат глухари. Я убиваю одного глухаря в темноте, другого на рассвете. Снег сходит вместе с первым теплым дождем, на нас набрасываются клещи-кровопийцы...

Последнее (предпоследнее) злоключение в этой «командировке» с нами случилось на кордоне Беле. Кордон на горном ярусе, а у самого озера лесники построили дом для каких-то своих надобностей, может быть, как бы озерный вокзал. Мы с Иваном в нем ждали моторку из Яйлю. В доме русская печка, мы ее загрузили плавником, растопили, и еще поместили в чело печи долгую листовничную чурку, сухую, пропитанную смолой-серой, так что изрядная часть чурки осталась снаружи печи. Сами легли поближе к теплу, уснули праведным сном горных странников. Чурка в печи прогорела, снаружи тоже занялась фырчащим пламенем – и рухнула на наши буйные головушки. Представьте себе: проснуться от близкого соседства – в обнимку – с горящей смолистой чуркой...

Доплыли на моторке по озеру до озерной столицы Яйлю. Колено озера от Яйлю до Артыбаша забито льдом. Торим себе путь по береговым крутякам, прижимаю; до нас здесь ни у кого не хожено. Не столько идем, сколько обнимаем одну березку, потом другую. В каждом глухаре по полпуда: мошники на кедровом орехе ясные, не то что наши, тонкошеие...

Зато в Бийске... О! В Бийске я преподнес глухаря бабушке Степаниде, она в последний раз пробовала глухариное мясо еще до Первой мировой войны, у нее мужик был охотник. Анфиса Петровна вообще не видывала эдаких птиц. Мне суждено было войти в дом, приютивший меня, – добытчиком, дарителем...

Просматривая мою газету за минувшие две недели, нашел захватывающе-интересную заметку: «В бюро крайкома ВЛКСМ». В заметке говорилось, что на бюро крайкома ВЛКСМ было рассмотрено поведение журналиста имярек, признано недостойным поведения советского журналиста. Журналист имярек уволен с работы, морально осужден. Интерес заметки состоял в том, что речь в ней шла обо мне.

Меня уволили за неподобающее советскому журналисту поведение.

Дело давнее, я уже о нем и забыл, а вот же всплыло; система незабывающая, непрощающая. Дело было такое: мне дали задание организовать материал пропагандиста в сети комсомольского просвещения, в связи с началом учебного года или с чем-то еще. В предгорьях Алтая, в глубинке, нашел пропагандиста Ковтун, пригужу учительницу русского языка и литературы, приехавшую в глубинку после Харьковского пединститута. Пропагандистка пожаловалась мне на первого секретаря Бийского горкома комсомола Скрылева: «У нас в кружке, конечно, занятия идут по программе, но молодежь приходит и о своем наболевшем высказывается. Мы обсуждаем и наши местные проблемы. Скрылев приехал и мне устроил нагоняй, говорит: «Политзанятие есть политзанятие!»

Я говорю пропагандистке Ковтун: «Я запишу то, что вы мне рассказали, за вашей подписью напечатаем в газете. Это как раз то, что нужно: после Двадцатого съезда идет борьба с формализмом в партийной и комсомольской работе...» Пропагандистка засмушалась: «Ой, что вы, лучше не надо...» Но я уже не слышал и не видел ее, работал оперативно. Вскоре в газете появилась статья за подписью Ковтун «Политзанятие есть политзанятие», в которой секретарь горкома Скрылев выступал формалистом и бюрократом. Помню, меня похвалили за эту статью.

Но первый секретарь Бийского горкома Скрылев стукнул секретарю крайкома по агитации и пропаганде Хомутову, молодому человеку лет тридцати, с острым взглядом, в очках в тонкой оправе, одновременно похожему на всех революционных демократов: Белинского, Добролюбова, Чернышевского. Хомутов давно ко мне приглядывался косым оком, я ему не нравился: с интеллигентским душком, таким в Сибири не место. Стали копать. Нашли пропагандистку Ковтун, взяли ее за чувствительное место, девушке куда податься? Она им говорит: «Приехал корреспондент, я ему ничего такого не говорила, он сам все придумал и написал, и мою подпись поставил». Подняли оригинал статьи «Политзанятие есть политзанятие», а там никакой подписи Ковтун нет. Так в советской журналистике не принято, такое не проходит. Поставили на бюро вопрос и решили.

В одну из последних прогулок по Бийску мне навстречу попался первый секретарь горкома комсомола Скрылев. Посмотрел на меня с насмешливым интересом, позвал: «Зайдем к нам». Мы пришли в горком комсомола, Скры-

лев заперся в своем кабинете первого секретаря, достал из сейфа бутылку водки, мы выпили, нашлась и закуска. Лицо Скрылева вдруг вызверилось, глаза остекленели. Он напрыгнул на меня, стал ломить, валить на пол. Вот здесь мне понадобилось мое железо: я учился хорошо владеть собою в странствии по горам. Скрылева приобнял, до хруста стиснул в объятиях, оторвал от пола, уложил на его секретарский стол, так чтобы он больше не рыпался.

На прощанье Скрылев сказал:

«Ну, ты молоток! Я думал, что ты интеллигентный хлюпик».

«Знай нашего брата корреспондента», — сказал я Скрылеву.

Понятно, что отосланные с дороги корреспонденции о моей последней командировке в Горный Алтай остались ненапечатанными. Хотя в редакции меня проводили со слезами, правда, пьяными, но искренними.

Наша с Иваном поездка в Горный Алтай подробно описана в моей повести «До полудня». Но я все раскладываю цветные картинки памяти, прикидываю, что последовало за чем, что из чего вышло. Если бы я не пробежал в первый раз сто шагов по опушке бийского бора, то едва ли бы решился закатиться в тайгу, и глухаря бы не подарил бабушке Степаниде, и первый секретарь горкома комсомола Скрылев остался бы победителем надо мной, и повести бы не было, да мало ли что еще... Жизнь бы вышла другая, без цветных в ней картинок.

## II

Помню: лето на Сахалине, Свободный переулочек на окраине Южно-Сахалинска, самое начало шестидесятых годов. Утром избегаю на сопку — тысяча шагов до вершины. Обратно спускаюсь не торопясь. Днем составляю альманах «Сахалин»: Санги, Ткаченко, Лебков, Белоусов, Алшутков, Озолин, Агния З... Да, обязательно тиснуть в альманахе Агнию З., вот эти ее стихи:

Я люблю парней добротных  
От руля и от ветрил —  
Здоровенных, пьяных, потных,  
С набалдашниками рыл.  
Чтобы весело играли  
В балалайку и гармонь,  
Чтобы истово икали,  
Обжимаючи тихонь.  
Тоже люди, тоже люди,  
Все хорошего хотят...  
Вечно будут, вечность будет  
Беспробудностью котят...  
Безучастны и строги  
В углу смазные сапоги...

«Альманах Сахалин» я составляю, сдам в набор, даже и составительские получу (получу — и улечу), а его после, при читке в директивных инстанциях, рассыплют. Так будет повторяться, с железной обязательностью, с одним исходом: я что-нибудь составляю, они рассыплют...

Пока что живу на Свободном переулочке, в щитовом строении геофизической партии: партия в поле, меня пустили пожить. Прирабатываю на радио, телевидение еще в детском возрасте, а я в возрасте Иисуса Христа... Икры, крабов на Сахалине — ешь, не хочу, коньяк рупь шестьдесят сто граммов. Иногда мы с Агнией З. ходим в ресторан «Спорт» — в парке культуры и отдыха под сопкой — развлекаться...

Всплывает в памяти цветная картинка из времени моей окончательной возмужалости: сидим с девой-поэтессой в ресторане вдвоем за столиком, выпили коньяку, закусили икрой, крабами, нам принесли по лангету. У девы челка до бровей, как у Марины Цветаевой; я не был красавцем, но из себя ничего, парниша фартовый. На эстраде играет оркестр — негритянскую музыку, кажется, «Караван» Дюка Эллингтона. В оркестре все — корейцы... Тихими шагами кто-то подошел сзади, дышит мне в ухо, вкрадчиво произносит: «Разрешите пригласить вашу даму». Оборачиваюсь: стоит кореец, невысокого роста, прилично одетый, вроде бы не пьяный, с замкнутым смуглым лицом. Я отвечаю: «Спроси у дамы». Кореец приглашает мою даму (мы с

нею еще сами не выходили на круг). Я делаю вид, что мне безразлично, жую жесткое мясо лангета. Агния З. объясняет корейцу: «Вот доем лангет, тогда и спляшем, а то он остынет».

Слышу, чувствую, осязаю: кореец не ушел, все дышит мне в ухо. Вдруг положили передо мною на стол пятерку. Я не понял, зачем, не отвлекаюсь от лангета. Кореец сказал: «На пятерку, я станцую с твоей бабой». Смысл сказанного мгновенно пронзает меня: он хочет купить мою бабу за пятерку. Дальше все разворачивается по законам западного кино: встаю, без большого замаха, с сознанием, что бью вполсилы, профилактически, наношу корейцу прямой удар в переносицу. Кореец падает, не навзничь, подгибает ноги в коленках, калачиком. На полу вытягивается во весь небольшой рост, лежит с закрытыми глазами. Я возвращаюсь к лангету. Вижу: Агния З. улыбается с довольным видом, ей понравилась мой удар.

Я тоже в этот момент себе нравлюсь, но, чем долее живу и вспоминаю, тем сильнее гложет меня сомнение: лучше было сесть с корейцем за стол переговоров, остался невыясненным внутренним посылом его поступка. Хотя... я действовал в интересах приглашенной мною дамы, защитил ее честь...

Сижу спиной к залу, к оркестру, спиной осязаю воцарившуюся в зале тишину. Оркестр в полном составе ходит с эстрады. Слышу приближающиеся шаги музыкантов. Чуть поворачиваю голову, вижу: все обступили своего лежащего на полу соплеменника. Глава оркестра, трубач, нагнулся к нему, о чем-то спросил, тот что-то ему ответил. И вот уже весь оркестр вокруг нашего с Агнией З. столика. Глаза каждого из музыкантов направлены на меня, не обещают ни малейшего снисхождения. У меня спросили: «Что здесь произошло?» Я чистосердечно пересказал драматическую канву нашего с любителем танцев короткого знакомства. Оркестранты обратились к Агнии З. за подтверждением моей версии. С игрою глаз, с чарующим лукавством, с подкупающей прямоотой приехавшего из поля, с геофизического профиля своего парня, с готовностью грудью заслонить кавалера, то есть меня, от напасти, Агния З. в лицах изобразила, как и что у нас вышло. Оркестранты загляделись на Агнию, забыли, зачем пришли. На лицах у них проступило одно желание – станцевать с моей бабой. «Да что вы, ребята, – уговаривала музыкантов Агния З., – да он же притворяется, его же чуть-чуть стукнули, это же ему пойдет на пользу, чтобы не жлобствовал».

Трубач посмотрел мне в глаза по-иному, не как вначале, без ненависти, спросил: «Это действительно все так было, как вы говорите? Мы все равно узнаем правду, и вы от нас не скроетесь, мы везде вас найдем». Следовало ответить трубачу как под присягой, держа руку на Библии. Я ответил: «Да. Все так было».

Оркестранты вернулись на эстраду, зазвучала их негритянская музыка, зашаркали по дощатому полу танцующие пары. О лежащем корейце как будто забыли; он все лежал, с замкнутым обиженным лицом, с закрытыми глазами. Пришли два милиционера, попробовали лежащего поднять, но он снова падал. Тогда один подхватил его под мышки, другой взял за ноги, и куда-то унесли.

Просматривая нынче эту картинку из моего прошлого, я отдаю себе отчет в том, что... мне тогда повезло; пришли бы – и концы в воду; воды вокруг острова – океан... Спасибо Агнии З.!

Хотя из-за нее все и заварилось. У нее одной на всем острове была челка, как у Марины Цветаевой, это действительно раздражающе на коренное население... Нынче бы мое самоуправство расценили как великодержавный шовинизм. Но тогда, в начале шестидесятых, на вещи смотрели проще (при избытии икры и крабов), в отношениях между людьми имели место вненациональные честь, порядочность, а потом все другое. Жестокость была и тогда...

Утром бегу по Свободному переулку: триста шагов по ровному и еще семьсот вверх по склону сопки, чем выше, тем круче. Понятно, что шаги укорачиваются. Взбегу на вершину, окажусь в лиственничной тайге; даурские лиственницы с долгими ветвями под прямым углом к стволам, с красными шишечками в ярко-зеленой мягонькой хвое. На пологости склона, у подошвы, – огуречные грядки; каждый огуречный росток-двулистник укрыт полиэтиленовым колпаком: соленый туман наползает с Японского моря,



душит огуречную завязь. В бадейках на прямых коромыслах несут к своим грядкам живое пахучее органическое удобрение из отхожих мест исконные жители островитяне, искусные огородники — сахалинские корейцы.

Корейцы вообще все делают хорошо: лучшие закройщики в Южном (так островитяне любовно прозвали свою столицу) — корейцы; чудо-трубач в оркестре ресторана «Спорт», местный Луи Армстронг, — кореец... Капуста корейского посла — чамча — выше всяких похвал! Лепешки пен-се или коксу вы едали?! Едва ли! И много вы потеряли! Эти корейские лепешки можно было отведать в единственной в Южном харчевне с корейской кухней, в начале шестидесятых — и пальчики облизать, язык проглотить!

Что-то такое вызревало в среде корейцев на Сахалине, наверное, и в других местах, где назначено было жить — волею вождя народов — этой очень жизнеспособной нации; наращивался слой плодородной почвы для всхода таланта — не только в сфере огородничества, засола капусты, печения лепешек, пошива верхней одежды или игры на музыкальных инструментах... В шестидесятые годы в корейских семьях на южном Сахалине подрастала генерация, пролепетавшая свои первые слова по-русски... Прививка ветви одного этноса к стволу другого, бывает, приносит высокой ценности плод, с признаками не только исходно-этническими, но и с неведомой мастью гибрида.

Послевоенная генерация сахалинских корейцев освоила русский язык как собственный, как почву под огород; оставалось приобретенное возделывать, по-корейски бережно взрастить, искусно приготовить... Ну да, на словесной ниве...

В середине семидесятых годов в ленинградский журнал «Аврора» был принесен рассказ сахалинского корейца Анатолия Кима (тогда он жил в Ленинграде) «Акварель». Рассказ почему-то, не знаю, принес актер Иннокентий Смоктуновский, может быть, как жрец Мельпомены — музы трагедии: в рассказе Кима угадывался отзвук трагедии, взывающий к высокому искусству. «Акварель» напечатала в «Авроре». В раннем сочинении даровитого автора можно прочесть некоторые соответствия манеры лучшим японским образцам. Ну, скажем, прозы Акутагавы, или чьей-то еще, пока что не прочтенной, быть может, и не написанной, но обязательно очень японской. Впрочем, в рассказе Анатолия Кима «Акварель» можно и не улавливать этого соответствия, а просто внять едва слышным душевным зовам, насладиться тонким рисунком словосочетаний, мерой стиля, органичной для этого мироощущения орнаментальной деформацией фразы. Проза Кима произросла из сочувствия человеческому горю, но еще в ней был (и есть) восточный стоицизм, глядящий в глаза жестокости сузившимися от пристальности глазами.

От прозы Кима — первых его вещей — пахло ламинарией (то есть морской капустой), вынесенной из вод Японского (или Охотского) моря, разложенной на сахалинской лайде. Рассказ Анатолия Кима показался мне (я работал тогда заведомом прозы журнала «Аврора») посланием из моей сахалинской молодости в мой средний питерский возраст, чтобы не забывал...

Сахалинскому корейцу Киму пришел свой срок прорасти в русскую прозу, через нее в мировую культуру, осуществить завещанный предками талант — в вольном парении мысли, в музыке русской изящной словесности. Ким отслужил в армии, поработал на разных работах, закончил Литинститут... и стал превосходным русским стилистом.

Читая прозу Кима (хотя она совсем о другом), переносишь памятью чувства на Свободный переулочек в городе Южном... Бегу: триста шагов по ровному, семьсот в гору. Корейцы в соломенных широкополых шляпах, с наполненными до краев бадейками на прямых коромыслах несут, несут пахучее добро на свои огуречные грядки. И в этом нет никакого второго смысла, так было и в то время, когда люди только научились выращивать огурцы, и задолго до того, на самой заре земледелия. Почву надо удобрить, тогда на ней образуются всевозможные плоды.

Утром пробежишь по росистой траве, взопреешь, нанюхаешься запахов земли, посмотришь в глаза восходящему солнцу, — и успокоишься, как природа. Примешься составлять альманах «Сахалин» или еще что-нибудь. Без покоя внутри едва ли что выйдет.